

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

7

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

297

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

451

ЭПИЛОГ

504

**ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ**

1.

Когда в октябре 1940 года Мишу Гвирцмана исключили из института, у него появилось много свободного времени.

Как им распорядиться, Миша не знал. Оставаться дома было невыносимо, вздохи матери доводили его до белой, буйной, несправедливой ярости. Он еле удержал ее от похода к ректору, от заявления с признанием собственной вины, — и она притихла, но не успокоилась, нет. Особенно ужасны были еже-часные предложения что-то съесть, подкладывание вкусенького. Впрочем, вечернее покашливание отца и нарочито-бодрые разговоры о чем попало, чаще всего о газетных новостях, были ничуть не лучше. Не мог оставаться дома, первое время просто шлялся по городу, благо сентябрь был теплый, почти летний, и ноги сами уводили как можно дальше от Сокольников, чтобы ни-ни-ни, не встретить человека

из института. Никто ему не попадался, не звонил, не предлагал повидаться: для одних он был зачумленный, другие чувствовали себя виноватыми. Он допускал, впрочем, что некоторые радовались, но вряд ли многие.

Большая часть времени уходила на то, чтобы закрасить настоящие воспоминания и выдумать новые, вращать их в картину мира. Он полагал себя в академическом отпуске. Сказал же ему Евсевич, вполголоса, еще и подмигнув: ничего, придете через полгода, все забудется, восстановитесь. Если бы еще прошлой весной кто-то посмел ему намекнуть, что он будет утешаться подмигиваньем Евсевича, приспособленца, вечно висевшего на волоске, в страхе изгнания, а все-таки бессмертного! Раз в семестр Евсевич менял свою концепцию истории русской критики, которую преподавал блекло, полушепотом, а когда-то считался эффектнейшим лектором Москвы, и держали его, кажется, лишь затем, чтобы показать результаты перековки. Непонятно только, был это дурной пример или хороший. Вот что будет с тем, кто перековался, — или с тем, кто в душе остался не наш! Евсевич, безусловно, был не наш. Наш не может быть таким. И теперь, когда Евсевич возле деканата наклонился к нему воровато и полушепотом пожалел, Миша Гвирцман был себе вдвойне отвратителен.

Некто хотел изнасиловать женщину, но не смог. Кто-то шел мимо, или иначе помешали, или просто, бывает, не получилось. Она, однако, подняла шум, и его посадили. Он отсидел, вышел и изнасиловал ее,

потому что иначе было обидно. Такой сюжет. Миша не знал, прочитал его где-то или придумал. Валя из его мыслей была изгнана начисто и пребывала в изгнании, пока он не понял, что обдумывание планов мести способно пролить на рану хоть сколько-то бальзама, пусть и второсортного. Планы мести были троякие. Первый, откровенно детский: он многого достигал и торжествуяще, презрительно шел мимо. Из серии «Тогда она поняла». Желание славы, раз уже испытанное в истории с Леной М. Он читал на пушкинском вечере «Воспоминания в Царском Селе», был вылитый Пушкин, в качестве Державина присутствовал умиленный Сельвинский, но... месть не удалась. Он счастлив был позволением проводить Лену два раза — и все. Но теперь-то уж, конечно, мы не дрогнем.

Второй был взрослей, решительней: он реабилитировался, вся история забывалась как мелкая неприятность — у кого их не было? — и от него зависело ее трудоустройство или карьера, и Валя получала такой от ворот поворот, какого не делал в Сокольниках любимый трамвай 4а.

Третий был самый странный, он не ждал от себя ничего подобного: нравилось представлять ее повешенной или подвергаемой пыткам, какими франкисты пытались сломить испанских коммунистов, попавших к ним в лапы. Мечты и даже сны такого рода вызывали кратковременное облегчение и жгучий стыд.

Вообще же — к черту, всё к черту! Когда он, бледный, но гордый, выходил из института после собра-

ния, без слез, естественно, однако дергалось веко, — его нагнал Игорь: брось, ничего страшного, никто не верит, все это не всерьез. Миша тогда остановился и чеканно переспросил: не верит? Почему же ни одна сво... ни один... не раскрыл рта? Почему воздержался только ты, и не против, заметь, а воздержался? Но ты же понимаешь, старик... Я не старик, огрызнулся он тогда, это ты старик, и все вы старики. Вообще держался вроде бы не самым стыдным образом. На следующий день к нему пришел Полетаев — странный человек, кое-чего повидавший. Мише Полетаев всегда нравился, хотя говорили о нем разное. Он был, говорят, в ссылке. Марина сказала, что от него буквально пахнет ватником. Ей-то откуда знать, как пахнет ватник? Полетаев однажды похвалил его стихи, вообще, кажется, был к нему сдержанно расположен. Он был у Миши на дне рождения, восемнадцатом, самом счастливом — знать бы тогда! Нет, лучше, конечно, не знать. Просидел три часа молча. Так что запомнил, где Миша живет, и пришел без звонка, хорошо, что застал. Вышли пройтись. Полетаев некоторое время молчал, потом сказал: не могу ничем тебя утешить, да тебе и не нужно (Миша гордо кивнул), и вообще, не старайся себе внушить, что ничего особенного не произошло. Безусловно, произошло. Но, во-первых, поэту нужна судьба, и теперь ты будешь писать иначе. Я всегда, сказал Полетаев, догадывался, что тебе не хватает именно толчка. Сколько можно писать о Жанне д'Арк? Теперь будет внутренний опыт, и все, что ты напишешь, будет уже не детское. Ни в коем

случае не надо прятаться. Надо принять, пережить и превратить в лирику. А во-вторых, ты этого хотел, Жорж Данден. Очень многие страдают без вины, что и некрасиво, и унижительно. Ты же можешь сказать, что пострадал из-за любви, и это лучше, чем огрести просто так. Но пойми, сказал Миша, ведь ничего не было. Не было, так будет, загадочно сказал Полетаев. А я, добавил он, думаю сам уйти — этот институт совсем не то, что надо, просто обидно уходить на ровном месте. Я уйду так, чтобы вышла польза. Ну, ладно, мне направо — и исчез, как явился, внезапно.

Катя не решилась прийти, но написала. Писала она, что про Валю всем давно понятно, и что она-то, конечно, с самого начала понимала, что Миша не такой и ничего не могло быть. Все про это говорят, и вокруг Вали образовался как бы колокол, из которого высосали воздух. Этот физический опыт из учебника Перышкина знали все. Ужасней всего — нет, противней всего, потому что ужасное происходило сейчас с Мишей, — противней всего было то, что Катя приложила к письму стихи, и по стихам было понятно, какая она некрасивая, с прыщавеньким лбом. Стихи были с отвратительной рифмой «дым из труб» — «на ветру», и почерк ее был школьный. Его жалели только люди вроде Евсевича и девушки вроде Кати, чье тихое обожание он принимал с откровенной брезгливостью. Вызывать сострадание у тех, кого презираешь, — что хуже? Он записал эту мысль в дневник, который теперь убрал из ящика стола и спрятал как следует.

2.

Что, собственно, случилось? Прежде чем мысленно переписывать прошлое, его надо было по крайней мере уяснить; назвать вещи своими именами, чтобы придумать эти имена заново. Назовем же: его все-таки не стали исключать из комсомола. Если бы исключили, это означало бы куда более серьезные последствия. Тут и отца погнали бы с работы, и вообще могло быть что угодно. Но по комсомольской части объявили выговор, и на этом все закончилось. Да и что, по самому строгому счету, могли ему инкриминировать? Изнасиловал? Смешно. Поцеловал? И этого не было — скользнул губами, и только потому, что явно заигрывала сама. Но он, конечно, не сказал об этом ни слова. Все было рыцарственно. По большому счету, ему не в чем себя упрекнуть. И если она затеяла всю эту историю, то лишь для того, чтобы избежать соблазна. Так у них могло что-то быть, он

чувствовал. А после того, как она написала заявление, — все отрезано, и она опять звезда факультета, невенчанная вдова героя, столп чистоты. Интересно, до пятого курса проходит так? Не может быть, выгонят с третьего. Сказал же ей Толкачев на майской сессии: ответ, конечно, малоудовлетворительный, но в связи с исключительными обстоятельствами... Остальные про обстоятельства не сказали, но было ясно.

Итак. Пойдем с начала, с самого начала. Он увидел ее при подаче документов, но не уверен сейчас, она ли это была. Любовь всегда присылает вестниц. Тогда, оставляя свои грамоты и папку со стихами, он заметил ее взгляд — как бы иронический и при этом сразу сдающийся, долгий. И обязательное подталкивание подружки локтем, и сдержанный хихикс. Он прошел мимо не удостоив — еще в девятом классе привык, что звали то Пушкиным, как после того вечера, то Байроном, когда Нонна Ивановна прочла им Байрона. Шел и сам чувствовал, как хорош, — несмотря на малый рост, из-за которого никогда не страдал, всегда гордился. Важен не рост, а соразмерность. У него был рост Лермонтова, совсем немного не дотянул он до Гёте.

На вступительных испытаниях они с Валею пересячься не могли, потому что Миша, почти отличник (подгадила геометрия), поступал после легкого, символического собеседования, на которое и шел как на праздник. Праздник, как и аттестат, был подпорчен — собеседование у него принимал Ларин, доцент,